

в 1994 г.

А.Н. МЕДУШЕВСКИЙ

ЧТО ТАКОЕ МНИМЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ?

МЕДУШЕВСКИЙ Андрей Николаевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской истории РАН. Неоднократно публиковался в нашем журнале.

Постановка проблемы

Крах авторитарных режимов на исходе XX столетия и поиск демократической альтернативы им сделали необычайно актуальными ряд традиционных и, казалось бы, уже давно решенных проблем политической науки. В современной публицистике предметом споров становятся вопросы соотношения демократии и тирании, власти и собственности, общества и государства, желательных форм его организации, взаимодействия основных властей, прав и свобод индивида. В центре этих споров, отражающих расстановку политических сил, вполне закономерно оказывается конституционный вопрос — дискуссия о том, какой Основной Закон отвечает природе происходящих социально-политических преобразований. Следует подчеркнуть, что эти споры о конституции всегда являются проявлением более фундаментальных противоречий, раскалывающих общество на противоборствующие силы, выступающие с различными (или даже диаметрально противоположными) программами выхода из кризиса. Так было в эпоху античной демократии, подробно проанализированной в классической «Политике» Аристотеля, в Древнем Риме Цицерона и Тацита, средневековых итальянских государствах, политический строй которых стал предметом размышлений Макиавелли. Однако особую остроту и современное звучание проблема конституции приобрела в Новое время, в эпоху Английской, Американской и Французской революций, когда ее решение оказалось непосредственно связанным с решением фундаментальных задач социального переустройства, перехода от феодального режима Старого порядка к буржуазной демократической республике. Именно в это время формируется та парадигма конституции, которой суждено было господствовать на протяжении всего XIX века в странах Западной Европы и сыграть роль образца для всех последующих конституционных преобразований в странах Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки вплоть до настоящего времени. Имена Локка и Гоббса в Англии, Джефферсона и Адамса в США, Руссо и Монтескье во Франции, Канта и Гегеля в Германии отражают последовательное движение этих принципов и их распространение в Новое время. По существу, повсюду в Европе XVIII—XIX веков дискуссии о конституции были в первую очередь спорами о перспективных тенденциях социального и политического развития, оптимальной стратегии модернизации традиционных обществ. Не следует, однако, думать, что процесс распространения конституционных принципов проходил повсюду одинаково гладко, а сами конституции имели везде однотипное социальное содержание и выполняли сходные политические функции. Скорее, справедливо обратное утверждение: тот тип конституционализма, который утвердился в классических странах буржуазной демократии в XVIII—XIX веках, в глобальной исторической перспективе выступает в большей степени как исключение, чем как правило. Став моделью или идеальным типом для всех последующих конституционных преобразований в более отсталых, модернизирующихся странах Европы и других континентов, он неизбежно испытал на себе обратное и часто крайне деструктивное воздействие той исторической обстановки и социальной среды, реформировать которые изначально был призван. Результатом этого процесса идеализации и некритического заимствования западных конституционных норм в модернизирующихся странах было появление нового весьма своеобразного исторического явления — мнимого конституционализма, представляющего собой некоторый гибрид новых (конституционно-

правовых) политических форм и старого (абсолютистско-монархического) политического содержания. Главной исторической особенностью данного (мнимо-конституционного) тип. правления является то, что конституция здесь — не инструмент социального контроля, а средство легитимации традиционных носителей власти по образцу упрочившихся уже демократических режимов. Отсюда вытекают своеобразные социальные функции данного политического мутанта — он выступает не столько как переходная форма от абсолютизма к демократии, сколько как реакция на слишком быстрый, радикальный (революционный); переход от авторитарного режима к демократии, средство стабилизации общества, попытка выхода из порожденного модернизацией социально-политического кризиса в интересах традиционного правящего класса. Данный феномен представлен в истории разных стран рядом форм — от конституционной монархии до президентской республики и различных форм современных диктаторских режимов. Своим новым рождением он обязан том) вакууму власти, который возник на короткое время в наши дни при переходе от тоталитаризма к парламентской демократии. В настоящее время он получает новые возможности, поскольку опирается (в отличие от предшествующих исторических форм) на наследие предшествующих тоталитарных структур, мощную научно-техническую базу манипулирования массами, и использует объективно сложившиеся в обществе стереотипы мышления и поведения. Системный анализ данного явления составляет актуальную задачу современной науки.

Конфликт общества и государства в период модернизации

При анализе противоречий политической системы конституционализма важно не упускать из виду того факта, что сама она формируется в рамках определенной более широкой социальной системы, являясь ее важной самостоятельной частью и стабилизирующим фактором. В современной науке хорошо показано принципиальное отличие характера этой системы в странах классической буржуазной демократии и странах с запаздывающим или смещенным типом развития, вынужденных в силу этого избрать другую стратегию социальных преобразований и осуществлять их в более короткий исторический промежуток времени. В первом случае мы имеем дело с постепенным формированием основ гражданского общества и государства нового времени, важнейшим условием чего было утверждение у власти в ходе революций буржуазии, подготовленной к этому исторически. Такая модель органического развития общества представлена наиболее полно в Англии и Соединенных Штатах Америки, отчасти — Франции, где политический переворот (осуществленный в ходе революций) в значительной степени был лишь завершением уже осуществившейся социальной трансформации, приводил политическую надстройку и право в соответствие с готовым экономическим базисом. Для данного типа социально-политической трансформации характерна тенденция к известной интеграции общества и государства в рамках концепции «политического общества» Именно это обстоятельство позволило А. Токвилю в известном труде «Старый порядок и революция» констатировать фундаментальную преемственность основных линий социального развития Франции как до, так и после революции, которая с этой точки зрения выступала в лучшем случае лишь как катализатор процесса изменений, но отнюдь не их источник [1].

Второй тип организации общества характерен для стран, вынужденных в силу объективных исторических причин избрать стратегию модернизации и догоняющего развития. Данная модель отличается от классической по крайней мере в трех отношениях; во-первых, к моменту начала преобразований здесь отсутствуют необходимые элементы гражданского общества (в силу господства традиционных феодальных отношений) во-вторых, средний класс, даже если он существует, недостаточно силен для того, чтобы стать социальной базой демократических преобразований, в-третьих, эти преобразования оказывается необходимым провести в кратчайший (по сравнению с преобразованиями в западных странах) исторический промежуток времени. В результате здесь необходима совершенно другая стратегия развития вообще, другая комбинация политических сил и тактика реформ, в частности. Основным носителем преобразовательной программы становится не буржуазия, а скорее, узкий слой либеральной интеллигенции и просвещенной бюрократии, инструментом ее реализации — государство и его политические институты, а методы проведения неизбежно приобретают насильственный характер. Для всех

развивающихся или модернизирующихся государств поэтому характерен крайне резкий конфликт между обществом и государством, с одной стороны, целями и средствами проведения преобразований — с другой. Отсюда появление и философское разграничение таких понятий как «гражданское общество» (в противоположность негражданскому или традиционному феодальному обществу) и «правовое государство» (в противоположность полицейскому или абсолютистскому государству). Стремление обосновать идеал гражданского общества и правового государства в единой конституционной системе стало центральной проблемой либеральной правовой мысли и политической практики XIX века. Однако подлинное решение этой проблемы оказывалось практически невозможным. Суть дилеммы заключалась в следующем: для того чтобы создать на месте традиционного феодального общества новое — гражданское (и в основе своей буржуазное) общество, государство (которое оказывалось едва ли не единственным реальным инструментом для осуществления данной программы) неизбежно вынуждено было разрушать то самое право, гарантом которого оно считалось. Государство в этих условиях должно было избрать одно из двух — проводить реформы и тогда перестать быть правовым или, наоборот, оставаться правовым (в смысле верности традиционному праву и политическим институтам) и тогда отказаться от проведения реформ. Социальная мысль прошлого века, особенно германская, целенаправленно работала над решением этой проблемы. Разграничив и противопоставив гражданское общество и государство (наиболее полно в философии права Гегеля), она затем последовательно стала искать пути их примирения и синтеза на новой теоретической основе. Основные теоретические программы решения проблемы хорошо известны. Маркс увидел возможность преодоления разрыва гражданского общества и правового государства в создании тотального общества и нового типа государственности — радикальной революционной диктатуры, которая сознательно перестает руководствоваться нормами традиционного права, отбрасывает их в интересах решения социального вопроса. Как показала история, это был тупиковый путь, который не решал проблему, а откладывал ее решение на значительный период времени. Другую программу находим у теоретиков германского либерализма. Мощным идейным течением, ознаменовавшим разрыв с преобладающей традицией политической мысли — теорией естественного права стала историческая школа права Савиньи и Пухты, которая уже в самом начале XIX века противопоставила рационализму философии просветителей эволюционный подход к праву, отношениям общества и государства, этапам их исторического развития. Синтез естественного права и историзма, данный Гегелем, позволил выдвинуть новую социологическую концепцию взаимосвязи гражданского общества и государства, переосмыслить с этой точки зрения проблемы социальной природы разделения властей, формы желательного политического устройства и способов их достижения. Рудольф фон Иеринг выразил это либеральное движение емким понятием, — «борьба за право». В Германии она неизбежно должна была носить компромиссный характер, стремясь совместить противоречащие друг другу начала гражданского общества и правового государства в единое целое. Решение было найдено в таком равновесии общества и государства, при котором последнее могло активно влиять на модернизацию первого, однако, при сохранении определенных элементов общественного контроля и соблюдении ряда правовых принципов [2]. Идеальной формой правления с этой точки зрения представляла конституционная монархия, которая на деле часто оказывалась типичным вариантом мнимого конституционализма. Конечно, проблема конституционной монархии вообще и мнимого конституционализма, в частности (как одного из ее следствий), не должна упрощаться. В истории мнимый конституционализм был не только консервативной реакцией на подлинный конституционализм, но часто служил переходной формой к нему. Это подтверждается тем, что во многих странах, имевших устойчивую тенденцию к мнимому конституционализму (как например, в Германии, давшей ему также теоретическую формулу), окончательно утвердился все же подлинный, реальный парламентский строй. Тем не менее, мнимый конституционализм должен рассматриваться не только и не столько с точки зрения общей тенденции развития государственных форм (которые имеют тенденцию к унификации), а как достаточно стабильный и устойчивый самостоятельный феномен, длительное время господствовавший (и господствующий поныне) во многих странах, определяя характер политического Процесса в них. Данное обстоятельство хорошо осознается не столько теоретиками, сколько практическими политиками, ищущими в меняющихся условиях новые способы легитимации своих режимов. Сказанным объясняется в значительной мере рецепция данных принципов германской политической мысли и практики в других странах Восточной Европы, прежде всего — в России.

Конституционная монархия и президентская республика (разрыв или преемственность исторической традиции)

При изучении исторических форм мнимого конституционализма на первое место безусловно следует поставить конституционную монархию. Вполне закономерно, что наиболее полное теоретическое обоснование данной формы правления находим в тех странах, где она не только стала политической реальностью (это имело место также в Англии и Франции), но и в полной мере была ядром политической системы, определяя общий характер ее функционирования, разделения властей и взаимодействия. В этом отношении наиболее ценно обращение к опыту Германии, политическая система которой сформировалась значительно позже, испытала воздействие теории и практики английского и французского либерализма, но в то же время позволила создать оригинальный тип государственности — особый вариант конституционной монархии, ставшей именно в этой германской политико-правовой интерпретации образцом для ряда других аналогичных режимов. Более того, можно констатировать, что, отрешась от архаической терминологии, составлявшей невольную дань времени, и учитывая непрочность и исторически преходящий характер самого института монархии в рассматриваемую эпоху, в лице данной политической формы мы получаем определенную законченную социологическую модель — идеальный тип государственной организации, в котором уже намечены все основные структурные компоненты будущей плебисцитарной демократии в форме президентской республики. Сказанное заставляет внимательно проанализировать опыт германской конституционной монархии и прежде всего определяющий ее специфику монархический принцип.

Распространение конституционных идей в странах Восточной Европы происходит позже, чем в странах Западной, имеет существенно отличную теоретическую основу и практическое воплощение. Просветительская модель конституционализма, подчеркивает Д. Гримм, была связана с определенной исторической реальностью, вызвавшей ее к жизни. Однако, будучи однажды открытой, она могла быть затем перенесена в другие условия и служить другим целям [3]. Данный феномен характерен, в частности, для стран, не прошедших революций и не имеющих оформившегося гражданского общества, в которых конституция давала возможность преодолеть наметившееся разделение общества и государства путем их функциональной дифференциации в рамках единой правовой системы, позволяла монархам легитимировать свою власть с помощью законодательных норм, а также осуществить общее упорядочение администрации с целью повышения ее эффективности. В результате конституция утрачивала свой первоначальный смысл, который она имела в Америке и Франции и служила, скорее, для создания формальной видимости общественного контроля над государственной властью, подобно тому, как это имело место в наполеоновской Франции. Современная конституция возникла из разграничения общества и государства, сделавшего необходимым создание такой политической организации, которая поддерживала консенсус между ними, учитывая меняющиеся условия и расстановку сил. Отсюда важность правовых гарантий политического порядка и механизма его функционирования, с целью недопущения образования вакуума власти, становившегося возможным после революции, особенно в странах с низкой правовой культурой. Согласно классическому правовому определению, конституционализм отличается от двух других известных форм правления — абсолютизма и парламентаризма. От первого он отличается тем, что представляет собой правовое государство [4]. Конституционное, или правовое, государство (*Verfassungsstaat*) отличается от неправового, или полицейского, государства (*Polizeistaat*) главным образом тем, что в нем с помощью законодательных форм закреплены отношения между обществом и государством [5]. По сравнению с парламентаризмом конституционализм не является какой-либо другой формой государства, но представляет собой лишь особую форму правления. Конституционализм и парламентаризм дают различные ответы на вопрос о том, каковы должны быть отношения народного представительства и правительства, представленные законодательными и исполнительными органами власти. Конституционализм имеет место там, где правительство обладает независимостью по отношению к парламенту. Парламентаризм, напротив, означает зависимость правительства от воли парламента. Данное формально-юридическое определение нуждается в некоторой конкретизации. Для проведения разграничения с монархическим абсолютизмом важно знать, соответствует ли сущности конституционного государства тот факт, что в основе конституции лежит соглашение или воля монарха, дающего

конституцию (так называемые октроированные конституции); является ли народное представительство свободно избранным на всеобщих выборах или оно состоит из представителей привилегированных сословий; наконец, должно ли в этой системе господствовать равновесие властей или оно сохраняется здесь исключительно как формальный принцип, а на деле монарх обладает здесь всей полнотой власти, которую он имел до введения конституции [6].

Еще Эрнст Хубер в своем фундаментальном труде «Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789» вслед за либералами прошлого века вновь поставил проблему о степени самостоятельности германского конституционализма как формы правления. Является ли, спрашивал он, немецкая конституционная монархия XIX века, как она выразилась особенно в прусской конституции 1850 г., самостоятельной политической формой наряду с абсолютизмом и парламентаризмом, или представляет собой только компромисс между ними, своеобразный переходный этап между этими двумя чистыми формами политического порядка? Сам Хубер склонялся к выводу о возможности рассматривать немецкий конституционализм как систему, заслуживающую ранга самостоятельной модели конституционно-политического самовыражения. Согласно данной концепции, в конституционализме монархический принцип и представительный принцип связаны таким образом, что противоречия между этими структурными принципами снимаются в их взаимном функциональном взаимодействии [7]. В этом отношении Хубер последовательно выражает ту точку зрения, которая являлась практически господствующей в старой германской юридической науке и выражена наиболее четко в работе О. Хинтце о монархическом принципе [8]. Он, как будет показано ниже, писал о монархически-конституционной системе правления в отличие от парламентской как о своеобразной прусско-немецкой системе и выводил ее из особенностей социально-политических условий Германии. Существует, однако, и другая, прямо противоположная концепция, получившая наиболее полное выражение в трудах Бекенфурде. Обращаясь к этой проблеме, он ищет ее решения путем преодоления противоречия в оценках немецкой конституционной монархии как особой и самостоятельной формы правления, с одной стороны, и интерпретации ее как компромисса различных начал, простой модификации традиционных монархических принципов, с другой. Для этого он считает необходимым определить значимые особенности данного явления — «так называемой немецкой конституционной монархии» [9]. Их выделяется три. Прежде всего, конституционная монархия сохраняет преемственность по отношению к предшествующей — монархической форме правления, поскольку возникает не из революции, а в результате реформ. Эта тенденция, имевшая объективный характер, прослеживается со времени Просвещенного абсолютизма и лишь усиливается после французской революции и наполеоновских войн. Далее законодательство, вводящее конституционные нормы, исходит не от народа как носителя суверенной власти и не от согласованного решения народа и короля, но возникает исключительно по воле монарха. Данный феномен получил название октроированной конституции. Третьей значимой особенностью конституционной монархии является организация в ней законодательной власти. Она осуществляется совместно монархом и парламентом. Для того чтобы быть принятым, каждый закон должен быть одобрен не только двумя палатами парламента, но также получить одобрение монарха и правительства. В этом отношении особенно характерна известная статья 62 прусской конституции, закреплявшая данный принцип принятия законов. Неслучайно она стала предметом изучения в России и была использована в ее законодательстве при разграничении прав царя и Государственной Думы в период конституционного эксперимента [10].

Разумеется, это было меньше, чем требовала либеральная теория, однако больше, чем неограниченная монархия в чистом виде. Вопрос о пределах законодательной власти приобретал в этой связи решающее политическое значение. Он определял участие народного представительства в политической системе монархического государства и, следовательно, степень воздействия общества на нее [11]. Во всяком случае данный правовой принцип мог быть использован для воздействия на монархическую власть с целью предотвратить одностроннее использование исполнительной власти. Монарх, однако, не только оставался главой исполнительной власти и войска, но и полноправным (если не решающим) участником законодательной власти, обладая правом не только суспензивного, но и абсолютного вето. Существенное значение имеет анализ механизма власти в подобном режиме, своеобразии которого состоит в его сложном характере. Правительство и управление, в отличие от законодательной власти, полностью контролировалось монархом. В Германии, как в Англии и Бельгии, существовала система министерского правления.

Монарх правил не самостоятельно, но был связан контрассигнацией его решений ответственным министром. Однако этот министр, определявший политику и несший за нее ответственность, являлся не выразителем воли парламентского большинства, но назначался самим монархом в качестве его советника и помощника и зависел исключительно от его доверия. При такой организации конституционной монархии ключевую роль в формировании правительства играл не парламент, а государь. Поэтому здесь не могла действовать формула июльской монархии во Франции — «Le roi regne, mais il ne gouverne pas» («Король царствует, но не правит»). В результате правительство было институционально и персонально независимо от народного представительства, оставаясь целиком в сфере влияния монарха. Это было королевское правительство, а не парламентское. Тот факт, что народное представительство не имело никакой возможности поставить на голосование вопрос о доверии правительству, составляет сущность отличия конституционной монархии от парламентской. Уравновешивающую роль в данной ситуации играет принцип министерской ответственности, который соответствовал принципу безответственности монарха. Речь при этом идет не о парламентской, а о так называемой «конституционной» (государственно-правовой) ответственности. Данная практика вела к значительной независимости правительства от парламента, позволяя монархической власти проводить программу социальных и политических преобразований сверху. В этом состояла одна из принципиальных тенденций германского государственного строя, вынужденного последовательно, шаг за шагом, заменять традиционные феодальные социальные институты элементами гражданского общества и права. При этом государство шло на перестройку всего социально-политического законодательства, отказ от многих отживших институтов, составлявших социальную опору самой монархии, создавая на их месте новые, ставшие основой современного общества [12]. Этим задачам соответствовал способ легитимности власти (монархический принцип), основные законы государства (в частности, бюджетное право), организация правительства (принцип министерской ответственности). Анализ конституционной монархии по этим параметрам позволяет констатировать, что она представляла собой не столько самостоятельную форму правления, сколько форму постепенного перехода от неограниченной (абсолютной) монархии к парламентскому правлению, народному суверенитету. Таким образом, Хубер рассматривал конституционализм как самостоятельную форму государства, целостный порядок, основанный на конституционном дуализме монархического и представительного элементов. Напротив, Бекенфурде не считает конституционализм ни самостоятельным формообразующим принципом, ни специфическим способом обеспечения легитимности. В качестве окольного пути при переходе от абсолютизма к парламентаризму конституционализм не получает права именоваться самостоятельной формой государства.

Проблема перехода от абсолютизма к конституционной монархии и от него — к президентской республике стала предметом теоретического осмысления в германской политической мысли конца XIX—начала XX веков, когда она приобрела практическую актуальность. Наиболее полно этот анализ был проведен германскими юристами и политическими деятелями в связи с обсуждением перспектив социально-политического развития страны при сохранении монархической формы правления или отказе от нее. Стремление согласовать решение социального вопроса с сохранением монархии в рамках концепции социального либерализма было продиктовано реальной ситуацией. Постановку этой проблемы находим в трудах основателя германского социального либерализма Ф. Наумана, прежде всего в основном его политическом сочинении «Demokratie und Kaisertum» (первое издание — в 1900 г.). Рассматривая соотношение сил Рейхстага и кайзера в политической системе Германской империи, он констатирует резкий перевес монархического начала над народным правительством. Несмотря на все успехи либеральных и демократических сил, считает он, парламентаризм так и не стал серьезной политической силой в стране, способной выступать противовесом монарху и самостоятельно осуществлять консолидацию общественных сил. Сложность и запутанность конституции, раздробление политических сил и соответственно отсутствие упорядоченной двухпартийной системы, постоянная борьба внутри парламента за приобретение большинства лишают этот демократический институт стабильности и ограничивают его реальное воздействие политический процесс [13]. В то же время монархическое начало не только не ослабевает, но усиливается. В современной Германии, констатирует Науманн, «нет более сильной власти, чем власть кайзера» [14]. Приспособление монархической системы к новым социально-политическим условиям: и использование новой техники управления привело к тому, что реальное участие монарха в проведении внутренней и внешней политики

государства стало даже больше того, которым располагал король в эпоху абсолютизма. Это столетие, середина которого была отмечена мечтами о республике, закончилось резким усилением личной власти кайзера, подобной которой не было даже у Барбароссы. Анализируя механизм отношений парламента и кайзера в системе германской конституционной монархии, Науманн подчеркивает мнимо конституционный характер данного политического образования. «Мы, — пишет он о немцах, — не имеем никакого парламентского правительства, никакого народного представительства, которое бы само по себе могло оказывать существенное воздействие на ход законодательства; мы имеем парламентаризм, который играет определенную вспомогательную роль при сильной центральной власти» [15]. Перед либерализмом встает проблема: может ли народ вообще получить такое политическое представительство, при котором его воля воплощалась бы в определенные политические действия. В этом контексте ставится и решается вопрос об ответственном министерстве, требование которого было одним из важнейших для достижения парламентского контроля над исполнительной властью. В противовес чисто юридической его трактовке Науманн подчеркивает политическое значение данного лозунга в странах монархического конституционализма. В формально-юридическом отношении принцип ответственности министров не имеет особого значения: он состоит в необходимости смещения министра по завершении им своей служебной деятельности или в случае выдвижения обвинений в его адрес. В тех странах, где существует законодательное закрепление принципа ответственности министров, оно реализуется не часто и не имеет, как правило, принципиального политического значения (являясь главным образом административным принципом). Совершенно иную роль реализация данного положения играет в странах, где монархическая власть сохраняет свое значение. Здесь введение принципа ответственного министерства означает установление подлинного парламентского контроля над исполнительной властью и ликвидацию монополии монарха на назначение, передвижение и снятие высших должностных лиц в государстве. Отсутствие этого принципа в германской конституционно-монархической системе приводит к усилению монархического начала в ней. Данный порядок утвердился благодаря Бисмарку, который, изъев из франкфуртского конституционного проекта все намеки на парламентскую ответственность министров, сосредоточил их назначение в руках канцлера, обеспечив превращение высших администраторов в орудие монархической власти [16].

При такой расстановке политических сил кайзер оказывается стоящим над всеми институтами государства, выступает как верховный арбитр в разрешении противоречий между ними и одновременно как символ и вождь нации. Возможно сравнение данной формы власти с бонапартизмом, основная идея которого состоит в теоретическом признании народного суверенитета и одновременно сведению его к власти одного человека. Этот результат достигается путем народного волеизъявления: базисом режима становится воля народа, а император выступает как воплощение национального единства. Хотя наполеоновские идеи, отмечает Науманн, не получили в Германии чистого выражения, они оказали существенное воздействие на концепцию прусской монархической государственности. Стремление раскрывать специфику германской государственности путем сравнения ее с бонапартистской моделью власти было свойственно многим германским юристам. Некоторые из них (как например, К. Лампрехт) даже усматривали в ней перспективный вариант для Германии, который позволяет учесть волю народа (выражаемую путем плебисцитов и референдумов), преодолеть деструктивное влияние партий и сект, наконец, обеспечить активную роль монарха [17]. В Германии, писал Науманн в сходном контексте, не было плебисцитов, как во Франции, однако существовал образованный общими выборами северогерманский Рейхстаг, который согласовывал конституцию с прусской короной [18]. Личная власть кайзера, имеющая бонапартистские черты, не случайное явление, а представляет собой закономерный «продукт экономических отношений» — реальную политическую силу, с которой необходимо считаться при разработке стратегии социальных преобразований. Позднее, в работе о власти кайзера — «Das Konigtum» (1909) он указывал на реальный характер монархического принципа, его политическую действительность. Теоретически очень легко быть республиканцем, критиковать монархию с позиций Разума, разделения властей и прав человека, однако для практической политики данный подход, скорее, вреден, ибо не считается с существующими отношениями государства [19]. Даже накануне свержения монархии (1917) Науманн рассматривал ее в качестве важной надклассовой силы и в полемике с социалистами доказывал, что при всех ошибках кайзера в ходе войны монархия как стабилизирующий институт общества должна быть сохранена — «Der Kaiser im Volksstaat» (1917) [20]. В этом контексте может

быть лучше понята известная идея германского (а не российского) либерализма об использовании монархической власти в интересах социальных преобразований, получившая название «социальной монархии». Согласно данной концепции, истоки которой восходят еще к Лассалю (предлагавшему Бисмарку поддержку рабочих против либералов за определенные социальные уступки) социальная монархия становится возможной в том случае, если кайзер в своей внутренней и внешней политике будет опираться на поддержку народа [21]. Отсюда, был только шаг к идее плебисцитарной республики, который, как мы увидим; сделал М. Вебер.

Как показано в новейшей литературе, Науманн, близко знакомый с Вебером и разделявший многие его взгляды, принял после революции и свержения монархии в Германии и эту его идею о всенародно избранном президенте как лучшей замене монарха. Стремление к большей унитарности государства в рамках федеративной конституции и задача концентрации исполнительной власти в связи с этим также могли быть обеспечены лучшим образом в президентской, а не парламентской республике. Этим объясняется тот факт, что, несмотря на, свои либеральные убеждения, оба мыслителя, заложившие основы веймарской правовой системы, английскому варианту ее организации предпочли американский тип конституционализма с сильно выраженной президентской властью [22]. При общности подходов двух мыслителей к проблемам переустройства политической системы Германии можно, однако, отметить определенные нюансы в интерпретации ими президентской власти. Науманн, в отличие от Вебера, не высказывал принципиальной симпатии к системе плебисцитарной демократии, подходя к ней и роли президента, скорее, с функционально-технической точки зрения [23].

Напротив, в веберовской социологии отношения власти вообще являются определяющими при интерпретации основных типов социетальных систем. Поэтому конфликт общества и государства (выражающийся в смене способов обеспечения легитимности власти) играет для него решающую роль и является определяющим для установления перспективных тенденций развития политической системы. Согласно веберовской теории, наиболее четко переход от традиционных отношений в организации общества к рациональным проявляется в системе государственного управления, структуре формальных организаций и бюрократии на стадии их реформирования. Подходя к проблеме с точки зрения теории рационализации; Вебер видел главный итог политических преобразований в Германии и особенно первой революции в России не в создании конституционной монархии, а в ее перестройке применительно к новым условиям. Эта перестройка состояла по его мнению в завершении рационализации и бюрократизации самодержавия. Данный процесс раскрывался им прежде всего путем анализа его механизма как борьбы за власть трех основных сил — парламента, правительственной бюрократии и монархии. В общем теоретическом плане характеристика их отношения в сравнительно-исторической перспективе была дана Вебером в известной работе «Политика как призвание и профессия» (1918), представляющей его политическое кредо [24]. Однако применительно к России это было сделано гораздо раньше — в работах о революции 1905 г. [25]. Что касается первой из указанных сил, то Вебер, вслед за М. Острогорским, вполне определенно констатировал появление в парламенте правящего меньшинства ведущих партий или «кокуса», реально определяющего судьбу того или иного кабинета [26]. Этот процесс бюрократизации партий ведет в принципе к образованию политической машины, управляемой ведущими администраторами и идеологами, которая видит цель своего существования прежде всего в захвате и удержании государственной власти. Другая сила — правительственная бюрократия, в процессе своей рационализации проходит различные стадии, становясь все более дифференцированной, функционально специализированной и корпоративно объединенной. Общим результатом этого процесса становится усиление технических возможностей бюрократии, степени ее контроля над инструментами управления. В этом отношении, считал Вебер, бюрократии принадлежит будущее, хотя он и исходил из мысли о том, что рациональная бюрократия должна стоять вне политики. Третьей, традиционно наиболее значимой силой, является глава исполнительной власти — монарх, который формально представляет вершину всей пирамиды власти. Рационализация управления и бюрократизация власти ведет к тому, что монарх и его ближайшее окружение, некогда осуществлявшие непосредственное управление (как это было в традиционных монархиях), оказываются все более оттесненными от него, превращаясь в более или менее формальный центр власти. Между обществом и выражающими его волю представительными учреждениями, с одной стороны, и монархом, с другой, вырастает новая сила — высшая бюрократия, которая становится как бы арбитром в спорах между ними, фактически

осуществляя реальную власть с помощью разветвленной системы исполнительных учреждений. Исходя из такой расстановки сил в обществе, возможны два принципиально различных типа коалиций: между парламентом и монархом против бюрократии или между бюрократией и монархом против парламента. В том случае, когда демократические силы недостаточно сильны или расплывлены, как это имело место в Германии или России в эпоху мнимого конституционализма, становится реально преобладающим второй тип коалиции, превращающий монарха в заложника бюрократии и ведущий к отделению власти от общества. Именно поэтому Вебер, выступающий сторонником сохранения в переходный (постреволюционный) период монархии как источника стабильности и поддержания легитимности правления, в принципе считал республиканский строй наиболее разумным [27]. Гарантия подлинной демократии виделась ему в плебисцитарной республике и, прежде всего, во всенародно избранном президенте, который в силу личной харизмы сможет противостоять бюрократии и консервативным группам в обществе. Данный анализ природы политической власти переходного периода наиболее четко представлен в политических статьях Вебера последующего периода, написанных во время революции в Германии или сразу после нее. К их числу относятся прежде всего «Парламент и правительство в переустроенной Германии» [28], а также фрагмент о президентской власти [29]. Весьма показательна эволюция теоретических взглядов Вебера в ходе меняющейся политической ситуации в Германии начала XX века. Исчерпывающие объяснения этой эволюции находим в воспоминаниях Марианны Вебер. Предметом размышлений германского мыслителя явился центральный вопрос переходного периода: какой должна быть структура власти в новую эпоху (после свержения монархии); следует отстаивать парламентарную или плебисцитарную республику? В условиях, когда монархическая власть сохраняла свое значение, Вебер считал целесообразным осуществление руководства через механизм парламентских выборов. Он резко критиковал ошибки кайзеровского режима во внутренней и особенно внешней политике периода первой мировой войны. В этих условиях единственным действенным противовесом правлению бюрократии в рамках монархической системы он считал сильный парламент, способный осуществлять позитивную политику. Только парламентская система, пользующаяся доверием избирателей, будет способна осуществить политическое воспитание нации и выдвинуть лидеров, пользующихся общественным авторитетом. Однако в принципе Вебер не идеализировал парламентскую систему, видел ее недостатки и не считал ее абсолютным средством решения проблем переходного периода. Кроме того, он в ряде работ хорошо показал, что парламент сам по себе еще не тождествен демократии и может быть поставлен на службу узким классовым, групповым или фракционным интересам. Поэтому с падением монархии он стал выступать за выборы главы государства — президента прямым всенародным голосованием. Смысл такого подхода состоял в стремлении избавить главу государства от парламентского контроля, превратить президента в независимую от парламента силу, дать ему возможность в конфликтных ситуациях апеллировать непосредственно к народу через голову парламента и высшей администрации. Среди основных доводов в защиту такой позиции выставлялись следующие: всенародно избранный президент может выступать гарантом стабильности государства в случае конфликта законодательной и исполнительной властей (парламента и правительства), становясь верховным арбитром в их споре; будет достигнута цель ограничения влияния партий на политический процесс и, в частности, их роль при выборе министров; наконец, сильный президент будет символизировать единство нации и государства. Практическая политическая деятельность Вебера по поиску соответствующей кандидатуры на пост президента еще лучше раскрывает общую авторитарную направленность его взглядов. Хотя Вебер был больше ученым, чем политиком, он оказал Достаточно определенное влияние на политический процесс Веймарской республики, а его позиция в отношении роли президента часто рассматривается как теоретическое обоснование последующей диктатуры. Политические взгляды Вебера стали предметом острой дискуссии именно в этой перспективе. Большинство немецких и американских авторов склонялись к рассмотрению Вебера как подлинного либерала и демократа западного стиля, соответствующего тому его имиджу, который приобрел распространение после второй мировой войны. По мнению других ученых, например, Р. Арона, данное представление очевидно очень далеко от реальности. Полемизуя с известным германским исследователем творчества Вебера — В. Моммзеном, он отмечает, что демократия никогда не была для Вебера высшей ценностью, но, скорее, средством, наиболее эффективным в определенной ситуации. Высшим принципом для Вебера, подобно другим представителям старой германской науки, было национальное величие, воплощенное

в могучем государстве и сильном правителе, а не демократия и гарантии личных прав [30]. Монархия не устраивала его главным образом в силу своей неэффективности в новых условиях рационализации управления, а не в силу несоответствия либеральным идеалам. Макиавеллистические принципы Вебера, считавшего, что главным качеством политика должна быть воля к власти, в новых условиях послевоенной Германии могли реализоваться лучшим образом не в кайзере, а в харизматическом вожде нации, которым и призван был стать всенародно избранный президент. Даже если считать данное мнение известным преувеличением, нельзя отрешиться от мысли, что веберовский идеал плебисцитарной республики, очень напоминающей бонапартистскую диктатуру, во многом является развитием монархического принципа германской государственности.

Критика парламентаризма и либеральной демократии в XX веке

На переломном этапе конца XIX—начала XX веков в ходе мировой войны и особенно после революций в странах Восточной Европы, повлекших за собой крушение империй в России, Германии и Австро-Венгрии, вопрос о будущих формах правления приобрел первостепенное значение. Обсуждение его велось особенно интенсивно в Германии периода Веймарской республики, раздираемой с самого начала существования острым социально-политическим кризисом. Следует, однако, подчеркнуть, что в ходе этих дискуссий получили развитие те основные концепции, которые сформировались в предшествующий период, в частности, в связи с обсуждением тенденций развития конституционной монархии и президентской республики. Наиболее драматический характер эти теоретические исследования приобрели к концу существования Веймарской республики, когда парламентские, демократические институты в условиях резкого роста напряженности и борьбы крайне левых и крайне правых элементов (коммунистов и фашистов) оказались неспособными предотвратить кризис государственности (1932—1933) и установление тоталитарной диктатуры. В ситуации, которую современные исследователи определяют как паралич парламентской системы, в Германии выступил ряд мыслителей, поставивших под сомнение целесообразность сохранения демократии как формы правления и видевших выход из кризиса в резком усилении исполнительной власти, предоставлении главе государства чрезвычайных или диктаторских полномочий для борьбы со смутой. Среди них ведущую роль сыграл Карл Шмитт, давший в новейшее время наиболее развернутую критику парламентаризма и теоретическое обоснование отказа от демократических институтов XIX века в пользу авторитарной власти, фактически являвшейся мнимо конституционным феноменом [31]. Известный тезис Шмитта о том, что сувереном является тот, кто располагает возможностью введения чрезвычайного положения, был результатом осмысления политической практики его времени, хотя имел за собой также и длительную философско-правовую традицию. В этом отношении работы Шмитта о кризисе парламентаризма, диктатуре, соотношении таких понятий как законность и легитимность были теоретическим осмыслением основного политического конфликта его времени. Возрождение абсолютистской теории Гоббса в новом виде под именем концепции борьбы друг друга с точки зрения государственных интересов оказалось той формулой, в которую логичнее всего было облечь политическое содержание рождающегося диктаторского режима [32]. К. Шмитт был, отмечает новейший исследователь, не анархист (как думали многие), а напротив — жесткий государственник, «человек порядка» [33]. В политическом хаосе конца Веймарской республики государство являлось для него единственным гарантом стабильности и безопасности. Сущность «политического» требовала определенной формы, — именно — государства. Отсюда выводилась определенная последовательность политических форм, обратная той, которая давалась предшествующей либеральной юриспруденцией. Не конституция, считал Шмитт, создает государство, но, напротив, государство делает возможным конституцию. Не государство создает сферу политических отношений, но наоборот, политика делает необходимым существование государства. Эти идеи, во многом напоминающие марксистский подход к объяснению государственности и политики, стали основанием всесторонней критики демократии в известной работе Шмитта о современном парламентаризме [34]. Каждая эпоха в развитии государственной и политической мысли, говорит он, имеет ряд таких представлений, которые воспринимаются массами как очевидные, не требующие доказательств истины, становящиеся в результате этого объектом мифологизации и манипулирования. К числу таких истин, начиная с эпохи

Нового времени, т.е. в XVIII и особенно в XIX и XX веках принадлежит убеждение в ценности демократии как формы правления, создающей оптимальные условия для выражения воля народа в политике и управлении государством.

В этой перспективе дается анализ политической теории и практики европейского либерализма. Так, Л. фон Ранке определял идею народного суверенитета как самую сильную идею эпохи, а в ее борьбе с монархическим принципом усматривал преобладающую тенденцию столетия. Между тем, торжество демократии в ряде стран не только не разрешило многих проблем, но поставило ряд новых. Даже такие признанные сторонники либеральных институтов как Токвиль и Гизо во Франции начали смутно ощущать деструктивный характер абсолютной демократии, ведущей к хаосу, и размышляли над тем, как ввести этот процесс в определенное упорядоченное русло и сделать управляемым. Наивной вере в народ таких писателей как Мишле уже тогда противостоял трезвый скептицизм Ренана. Наконец, идеалистическим представлениям современных социалистов о том, что они есть истинные выразители демократии, противостоял реальность тех стран, где они добрались до власти. Таким образом, в теоретическом плане демократию отстоять не удалось. В практическом плане демократический принцип имеет свойство наполняться самым различным содержанием в зависимости от времени и места его реализаций. В политических системах Европы он реализовался как сам по себе, так и в комбинации с монархическим принципом при Дизраэли в Англии, Наполеоне III во Франции, в социалистическом движении Германии. Демократия может иметь военный или пацифистский характер, быть прогрессивной или реакционной, носить абсолютистский или либеральный характер, способствовать централизации или децентрализации управления. В результате правомерен вывод о том, что демократия — это только форма государственной организации, которая может иметь различное социальное содержание, использоваться всеми политическими течениями для достижения своих целей. Наиболее полно этот вывод был сформулирован, вероятно, Лениным в книге «Государство и революция» [35]. Однако в принципе он постоянно был на вооружении всех антилиберальных теоретиков как крайне левого, так и крайне правого направлений. К. Шмитт, знакомый с классовой теорией государства и аргументацией Ленина, хотя и считал их частным вариантом своей более общей теории конфликта, использовал их для обоснования своей концепции авторитарного государства. Если демократия - это только форма власти, то имеет ли она какую-либо ценность сама по себе? Шмитт склоняется к отрицательному ответу на этот вопрос. Демократия, согласно его воззрениям, противоречит природе и задачам современного государства. Сущность данного типа государственности выявляется путем сравнения его с фабрикой. Данное сравнение, использованное М. Вебером и Г. Кельзенем [36], позволяет продемонстрировать связь формы и содержания: подобно тому как современное капиталистическое предприятие не может существовать без единой руководящей воли, политическая организация не может функционировать без четко выраженного суверенитета. Частнокапиталистический предприниматель является абсолютным господином на своем предприятии и в этом смысле подобен феодальному абсолютному монарху. Усложнение организации общества и государства, решение задач их рационализации также объективно ведут к необходимости более четкого оформления политического суверенитета, концентрации власти. С этих позиций Шмитт развивает всестороннюю критику демократии, которая не устраивает его ни как абстрактный философско-правовой принцип, ни как практическая форма организации политической власти.

Остановимся подробнее на этой критике, поскольку она может рассматриваться в качестве наиболее цельного и последовательного обоснования практически всех известных форм авторитаризма и мнимого конституционализма в XX веке. Сильная сторона этой критики состоит в том, что в ней суммированы и четко выражены все те аргументы против непосредственной демократии, которые были сформулированы предшествующей либеральной политической мыслью от Монтескье и Токвиля до Вебера и Острогорского [37]. В рамках этой традиции критике подвергается прежде всего само понятие «народ», которое уже есть излишне априорная не поддающаяся научному анализу и эмпирической проверке. Ибо рассматриваемый как юридическая конструкция, субъект правовых отношений «народ» не может быть социологически разделен на различные социальные, экономические и этнические группы или представлен как совокупность дифференцированных индивидов, имеющих различные возможности и несомнящиеся политические права, обязанности, а значит, и интересы в обществе. Идеал демократии как непосредственного правления народа (народного суверенитета)

с этой точки зрения есть опасная метафизическая абстракция, которая на деле ведет к тотальному господству группы или одного правителя от имени всего народа, а следовательно установлению режима абсолютной тираннии. В центре критики при этом вполне обоснованно оказывалась метафизическая теория общей воли Руссо, которая обосновывала последовательное делегирование полномочий большинства правящему меньшинству и стала на практике политической формулой, легитимирующей власть экстремистских революционных элит от якобинцев до большевиков. Для традиционной политической мысли, принимавшей в той или иной степени концепцию народного суверенитета, неразрешимой оставалась проблема разграничения подлинной и ложной народной воли, а также, говоря языком Французской революции, определения того, кто такие «друзья народа» и кто — «враги народа». Даже если исходить из предположения, что механизмом определения народной воли является избирательное право, то и тогда следует принимать во внимание возможность изменения этой воли в соответствии с постоянно растущим числом избирателей и соответственно дифференциацией их представлений. Фактически даже самое демократическое избирательное право не дает возможности преодолеть эфемерный характер отождествления общества и государства.

Все те критические наблюдения, однако, которые сделаны были либеральной наукой при анализе непосредственной демократии, оказываются, по мнению ее радикальных критиков, еще более справедливыми в отношении демократии представителей. Таким образом, отталкиваясь от наивной руссоистской демократической утопии, К. Шмитт распространяет ее критику на демократический принцип вообще и прежде всего на либеральную концепцию представительной демократии. Следуя за либеральной идеологией XIX века в анализе концепции народного суверенитета, К. Шмитт использует ее оружие против нее самой: во всякой демократии он видит лжедемократию и во всяком конституционализме — мнимый конституционализм. В этом смысле его учение есть логическое завершение либеральной доктрины и одновременно попытка ее опровержения. В основе всякой демократической системы, считает он, лежит совокупность определенных допущений, выведенных из единого общего принципа (о всевластии народа), которые в принципе не могут быть проверены. Это последовательный ряд отождествлений, каждый элемент которого представляет собой подмену одного явления другим. Это отождествление правителей и управляемых, властелина и подвластных, субъекта и объекта государственной власти, народа и его представительства в парламенте, отождествление государства и закона, наконец, отождествление количественных показателей (колеблющегося большинства или единогласия) с качественными (правомерностью законов). За всей этой логической цепью умозаключений, считает Шмитт, нет никакой юридической, политической или социальной реальности, но исключительно психологическая реальность, состоящая в принятии определенных правил игры, выражающихся в рассмотренном ряде ассоциаций и отождествлений. Непосредственное волеизъявление народа (например, путем референдума, плебисцита или выборов), являясь хорошей легитимирующей основой для всякого образа правления, отнюдь не способно само по себе преодолеть разрыв между реальными чаяниями и получаемым результатом — идеализированным отождествлением воли народа с определенными политическими институтами или акциями. Несомненной заслугой К. Шмитта в области политической науки является сама постановка вопроса о природе такого явления как «воля народа», раскрытие механизма данного явления. Формально, с точки зрения господствующей доктрины, воля народа всегда равна сама себе безотносительно к тому, каким большинством (в миллионы голосов или в один голос) принято искомое решение. Это есть абсолют, который, будучи однажды сконструированным, встает над всем обществом и его индивидами. Суть данного психологического явления — воли народа (неважно, подлинная она или мнимая) раскрывается поэтому не из него самого, иначе говоря — не из того, что она (воля) собой представляет, а исключительно путем анализа того, как она возникает или конструируется. Перефразируя, можно выразить эту мысль словами Сталина: не важно кто и как голосует, важно — кто и как считает голоса. Изучение «воли народа» есть поэтому прежде всего анализ механизма манипулирования массами со стороны элиты, которая, контролируя рычаги власти и управления, обладая многообразными каналами воздействия на массы, наконец, прибегая в случае необходимости к прямой фальсификации голосований, всегда может обеспечить себе необходимую поддержку «народа». Данный подход объясняет такое специфическое явление политической истории как постоянную диалектику демократии и тираннии, перерастание одной в другую. Этот процесс, показанный впервые еще Аристотелем на примере античных государств [38], в новейшее время воплотился наиболее полно

в правлении большевиков, установление диктатуры которыми было проведено во имя подлинной или так называемой истинной демократии.

Процесс перерастания демократии данного типа в диктатуру, как показывает Шмитт, носит чисто эволюционный или органический характер, ибо в сущности они не являются противоположностями. Более того, судьба всякой последовательной демократии именно в том и состоит, что она перерождается в диктатуру, постепенно развивая имманентно заложенные в ней принципы. Природа этого перехода, столь частого на наших глазах в XX веке, заслуживает особого внимания и объяснения. Дело в том, что всякий последовательный демократ, для которого демократия является не просто формой или средством проведения какой-либо социальной политики, но представляет высшую ценность сама по себе, рано или поздно оказывается перед трудной дилеммой: он должен, оставаясь демократом, последовательно отстаивать ее даже против интересов большинства (и, следовательно, нарушать ее главный принцип) или сознательно выступить против своего символа веры, а значит, перестать быть демократом. Ситуация, когда демократы оказываются в меньшинстве, особенно показательна в этом отношении. Народ, не поддерживающий принцип демократии по тем или иным причинам, не понимает, согласно логике демократического меньшинства, собственных интересов, нуждается в просвещении, а потому должен быть временно побуждаем к их соблюдению с помощью насилия. Демократический идеал временно откладывается до достижения народом необходимой степени зрелости и просвещенности. Результатом этого оказывается диктатура, которая откладывает реализацию демократических норм на неопределенный срок во имя подготовки и достижения еще более совершенной или истинной демократии. Постепенно, однако, данный режим забывает про эту свою отдаленную цель и подчиняется внутренней логике авторитарного правления. Это находит выражение в изменении его структуры (в направлении концентрации власти) и характера отношений с народными массами. Мобилизация и монополизация в одних руках военной и политической власти, пропаганды, воздействия на общественное мнение с помощью прессы, партийных организаций, собраний, народного образования и школы создают уникальные возможности для манипулирования обществом и волей народа в интересах властвующего меньшинства. В социологической литературе начала XX века данный феномен перерастания демократии в диктатуру получил название «железного закона олигархии» (сформулированного Р. Михельсом) [39]. Кризис демократии объясняется в рамках данной теории ее собственной внутренней природой, делающей ее противоречивым и неустойчивым феноменом, представляющим собой, скорее, переходный исторический тип, чем самостоятельную форму правления. Шмитт также считает демократию временным порождением кризиса легитимности традиционной монархической формой правления, попыткой поставить на место божественного происхождения власти ее обоснование народным волеизъявлением. Однако он подчеркивает теоретическую и практическую невозможность реализации данного идеала. Несостоятельность демократии объясняется Шмиттом ее «беспомощностью против якобинского аргумента» — создания мнимого конституционного диктаторского режима, использующего новую (демократическую) формулу легитимности для обоснования своего господства.

Констатируя, что прямая демократия невозможна практически, мы, согласно логике данного подхода, должны признать невозможной и демократию представительную, поскольку она, не разрешая противоречий, присущих демократическому правлению вообще, лишь воспроизводит их на различных других уровнях власти. Так возникает пирамида различных уровней передачи ответственности: парламент выступает как постоянный комитет всего народа, правительство — как постоянный комитет парламента. Однако если допустить (в силу практических и технических оснований) саму возможность принятия решений от имени народа группой доверенных лиц, то почему не довести эту идею до логического конца, передав всю полноту власти одному человеку? Таким образом, считает Шмитт, система аргументов в защиту парламентаризма может равным образом оправдать феномен антипарламентского цезаризма. Наряду с чисто теоретической критикой парламентаризма существенное значение придается анализу его исторической эволюции, которая также не подтверждает его жизнеспособности в новых условиях. Вопреки мнению Ф. Гизо, рассматривавшего парламент как собрание экспертов, призванных определять оптимальный путь развития страны, Шмитт и другие критики (как справа, так и слева) указывали на недостаток рационализма в современном парламентаризме, превращение его в неэффективный институт, ставший средоточием фракционных интриг и ирищем амбиций политиков. При этом в центре критики оказывалось два традиционных

постулата либерализма — тезис о господстве общественного мнения (необходимым условием чего служит свобода прессы, слова, собраний, и дискуссий) и концепция разделения властей. Оба эти принципа тесно связаны между собой и имеют общие основания: они состоят в идее сочетания свободной конкуренции различных начал, с одной стороны, и их уравнивании — с другой. Данная концепция была сформулирована просветителями и развита либеральными мыслителями (Кондорсэ, Мерсье де ля Ривьер, Бентам и Милль) в условиях становления современного буржуазного общества как антитеза правительственному макиавеллизму абсолютистской эпохи. Однако, если в период своего возникновения она имела какой-то реальный смысл, то, по мнению критиков, потеряла его в новейшее время. Система разделения властей не может быть реализована на практике, поскольку противоречит целям рационализации управления и концентрации ответственности. Масштабы экономических сдвигов и усложнение характера управления делают невозможным принятие решений в парламенте с его традиционной практикой ораторских речей в защиту определенной политики или против нее. Реальность парламентской жизни в новых условиях управления отличается от сложившегося идеального образа: принятие решений осуществляется не общественностью в виде парламентского пленума, а в узких комиссиях, партийных комитетах или советах крупных промышленных концернов. Это приводит к превращению парламентаризма в фасад, скрывающий истинных обладателей власти, принимающих важнейшие решения без какого-либо общественного контроля, за закрытыми дверями. В этих условиях традиционный парламентаризм и связанная с ним система политических свобод и гарантий переживают глубокий кризис. Сходные аргументы против парламентаризма приводили и другие критики демократических порядков, например, Г. Моска, суммировавший их одним из первых еще в конце XIX века [40]. Разрушение демократической системы правления и ее легитимирующих оснований создает предпосылки для установления авторитарных режимов. В качестве альтернативы парламентской демократии К. Шмитт указывает на два основных типа диктатур — рациональный (когда философия соединена с саблей) и иррациональный. Последний стремится заполнить идеологический вакуум, образовавшийся в результате кризиса либерализма, политическим мифотворчеством, основными разновидностями которого являются марксизм и фашизм. Шмитт определяет эти идеологии так же как новую политическую теологию [41]

Теоретическим и практическим следствием антилиберального учения К. Шмитта явилась критика им конституционных порядков Веймарской республики и поддержка авторитарных тенденций развития политической системы. Исходя из этого может быть понята его позиция по вопросу о власти президента и, в частности, ее прерогативах в экстремальных условиях. Как и М. Вебер, исходивший при решении этого вопроса из своей теории плебисцитарной демократии, Шмитт считал, что власть президента должна быть нейтральной силой, стоящей над партиями, регулирующей конфликтные ситуации между ними и способной вводить чрезвычайное положение и использовать войска в случае необходимости. Особенно четко эта мысль выражена в работе, посвященной анализу диктаторских полномочий президента по статье 48 Веймарской конституции [42]. Являясь убежденным сторонником усиления исполнительной власти, Шмитт доказывал правомерность данной тенденции в рамках существующей конституционной системы. Он констатировал, что критерием правового государства является существование механизма ограничения всех государственных функций в их компетенциях с тем, чтобы предотвратить беспредельную концентрацию всей полноты власти в одном центре. Основанием этих ограничений всех государственных функций и их компетенций признается конституция. А сущность выражается, как вынужден признать Шмитт, старинным понятием разделения властей. Однако в особых ситуациях следует делать исключение из правила, которое состоит в вынужденном обстоятельствами представлении одной из властей преобладающего положения. Это относится к диктаторским полномочиям президента в условиях чрезвычайного положения. Весьма примечательно, что для обоснования этого вывода Шмитт не только использует теоретический анализ, но и обращается к истории германского права XIX века, богатого примерами подобного рода особых законов, объявляющих введение военного или чрезвычайного положения. Он, таким образом, вполне сознательно апеллирует к традиции мнимого конституционализма, используя апробированные там средства защиты монархического принципа. В этом арсенале он указывает прежде всего на такие средства, как концентрация в одних руках всей исполнительной власти со всеми ее компетенциями, приостановление определенных конституционных предписаний, практика издания правительственных распоряжений, имеющих силу закона, ужесточение уголовного

права и введение чрезвычайных военно-полевых судов. Со времен Французской революции, подчеркивает Шмитт, подобным образом происходит установление осадного положения как особого организационно-правового института, и комиссарская диктатура вводится в государственно-правовое развитие. Данная акция не является, следовательно, разрушением конституционного строя, но представляет собой развитие некоторых заложенных в конституции принципов, реализация которых целесообразна и необходима в крайних условиях. Германия, считает он, находилась в ненормальных условиях развития с 1919 г. (когда в конституцию была введена статья 48), а потому введение ее в действие давно следовало признать необходимой мерой. Реальной сложившейся ситуации соответствует не та схема конституционного права, которая годится для нормального состояния, а так ее модификация, которая необходима в чрезвычайной ситуации.

Труд консервативных германских теоретиков права по обоснованию чрезвычайных полномочий главы исполнительной власти актуализировался поскольку именно эта статья способствовала укреплению Гитлера у власти. Рассматривая данную проблему в длительной исторической перспективе следует признать, что указанная тенденция в какой-то степени вытекает из природы всей германской и особенно прусской государственности, воплощается наиболее полно в монархическом принципе и мнимом конституционализме до революции, получает обоснование в веберовском идеале плебисцитарной демократии и концепции всенародно избранного президента с харизматической властью, пробивает себе дорогу в конституционных спорах Веймарской республики и учении К. Шмитта о предоставлении президенту диктаторских полномочий. В качестве окончательного завершения данной традиции некоторые исследователи рассматривают нацистское государство с положенным в его основу принципом фюрерства. Все сказанное делает целесообразным специальное обращение к истокам мнимого конституционализма в Германии и прежде всего анализ явления, известного в историко-правовой литературе как монархический принцип немецкой государственности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Токвиль А.* Старый порядок в революция. М., 1905. С. 24—25, 36—37.
2. *Медушевский А.Н.* Гражданское общество и правовое государство в политической мысли Германии // Вести. МГУ. Сер. 12, Социально-политические исслед. 1992. № 5.
3. *Grimm D.* Entstehungs- und Wirkungsbedingungen des modernen Konstitutionalismus // Akten des 16. Deutschen Rechtshistorikertages. Frankfurt am Main, 1987. S. 69.
4. *Медушевский А.Н.* Абсолютизм XVI—XVIII вв. в современной западной историографии // Новая и новейшая история. 1991. № 3.
5. *Zippelius R.* Allgemeine Staatslehre. Munchen, 1980.
6. Политический строй современных государств. М., 1905. Т. 1—2.
7. *Huber E.* Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Stuttgart, 1975. Bd. 3. S. 4.
8. *Hintze O.* Das monarchische Prinzip und die konstitutionelle Verfassung. Staat und Verfassung. Berlin, 1962. S. 359.
9. *Bockenforde E.W.* Der Verfassungstyp der deutschen Konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert // Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815—1918). Koln, 1972. S. 146—170.
10. *Лазаревский Н.И.* Лекция по русскому государственному праву. СПб., 1908.
11. *Conze W.* Staat und Gesellschaft in der frührevolutionären Epoche Deutschlands // Die Entstehung des modernen souveränen Staates. Kuhn, 1967. S. 301—302.
12. *Fomhoff E.* Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Stuttgart, 1961.
13. *Naumann F.* Werke. Politische Schriften. Hrsg. von T. Schieder. Dusseldorf. 1966. Bd. II. Schriften zur Verfassungspolitik. S. 260.
14. *Naumann F.* Demokratie und Kaisertum / Werke. Bd. H. S. 256.
15. Op. cit. S. 336.
16. Op. cit. S. 373.
17. *Lamprecht K.* Staatsform und Politik im Lichte der Geschichte // Handbuch der Politik. Berlin, 1914. S. 32.
18. *Naumann F.* Op. cit. S. 266.
19. *Naumann F.* Das Königtum / Werke. Bd. II. S. 409.
20. *Naumann F.* Der Kaiser im Volksstaat // Ibid. S. 461.
21. *Naumann F.* Werke. Bd. II. S. 339.
22. *Spael W.* Friedrich Neumanns Verhältnis zu Max Weber. Frankfurt am Main, 1985. S. 184.
23. *Theiner P.* Sozialer Liberalismus und deutsche Weltpolitik. Friedrich Naumann im Wilhelminischen Deutschland (1860—1919). Baden-Baden, 1983. S. 290.
24. *Вебер М.* Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1991. С. 644—706.
25. *Медушевский А.М.* Макс Вебер и российский конституционализм // Отечественная история. 1993. № 2. С. 79—94.

26. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М., 1927—1930. Т. 1—2.
27. Weber M. Gesammelte politische Schriften. Tübingen, 1968.
28. Weber M. Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland // Op. tit. S. 294—431.
29. Weber M. Der Reichspräsident // Op. cit S. 486—489. Подробнее см.: Weber Marianne. Max Weber. Ein Lebensbild. Heidelberg, 1950. S. 687—688.
30. Aron R. Les etapes de la pensee sociologique. Paris, 1967. P. 566.
31. Carl Schmitt und Liberalismuskritik. Opladen, 1988.
32. Schmitt C. Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. Berlin, 1991.
33. Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. Heidelberg, 1992. S. 684.
34. Schmitt C. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. München und Leipzig, 1923.
35. Анализ идей Ленина в германской юриспруденции: Kelsen H. Sozialismus und Staat. Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus. Leipzig, 1920. S. 124.
36. Kelsen H. Reine Rechtslehre. Einleitung in die Rechtswissenschaftliche Problematik. Leipzig und Wien, 1934. S. 123—124.
37. Медушевский А.Н. М.Я. Острогорский и политическая социология XX века // Социол. исслед. 1992. № 8; 1993. №1.
38. Аристотель. Политика. М., 1911. С 244—245.
39. Michels R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Stuttgart, 1989.
40. Mosca G. Die Herrschende Klasse. Grundlagen der politischen Wissenschaft. München, 1950. Kapitel X — «Der Parlamentarismus».
41. Schmitt C. Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität München, 1922.
42. Schmitt C. Die Diktatur des Reichspräsidenten nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung // Schmitt C. Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf. Berlin, 1964. S. 258—259.